

Описывать историю историографии — дело одновременно увлекательное и неблагодарное. Нужно уместить в нескольких главах почти столетний период развития, сотни работ, наполнивших с тех пор книжные полки и библиотечные шкафы. Как ее писать? Превратить ли в интеллектуальную историю, показать абстрактное движение идей и смену идеологических позиций? Или добавить немножко (а «немножко» — это сколько?) контекста, поговорить о людях, их карьерных и профессиональных стратегиях, о прагматике их работ? Опять же не амбициозно ли для нескольких глав?

Рассуждая о стиле, нужно не забыть о нем. Сколько критики выслушали представители первого поколения лингвистического поворота (если вообще уместно мерить историю в поколениях) от своих последователей за то, что, занимаясь критикой языковых форм историографического письма, сами производили такие традиционные тексты! Стоит ли с позиций всеведущего нарратора рассказывать обезличенную историю развития направления, его превращения в дисциплинарный институт или «мощное» движение мысли, безусловно драматизируя на свой вкус — романтизируя, или примиряя с ходом дел, или даже заставив кого-то трагически переживать драму безысходности научной жизни? Или рассуждать о намерениях сотен далеких и практически неизвестных людей, изложенных в книгах и биографических статьях на сайтах?

Можно пообещать, по возможности, дать авторам, о которых идет речь, голос, услышать их аргументы, логику, поиск, метафоры, увидеть их в работе, «за верстаком». Так когда-то мечталось многим, но как мало таких работ в итоге удалось написать. Я не исключение. Строго говоря, сам выбранный по стечению обсто-

ательств жанр учебника этому противоречит. Он предполагает, что автор будет говорить о других, возможно, от лица других, за других, и как много в этой ситуации искушения присвоить, подчинить, использовать, как много импульсов отчуждения и дискриминации. И сколько бы я сейчас ни оправдывалась, я сама взялась за это дело, на первый взгляд, подчинившись каким-то импульсам ситуации, транслируя властные импульсы этой практики письма в жизнь своих читателей. А ведь могла бы сделать, скажем, хрестоматию — жанр, с которым еще недавно педагогика эпохи постмодерна связывала столько надежд, видя в этом возможность выбора, открытости, отказ от иерархий, наблюдение теории в работе, в «лаборатории», через плечо тех, кто давно практикует и у кого получилось убедить коллег. Хотя и хрестоматия редко вмещает больше полутора-двух десятков персоналий, выделенных из множества и заряженных обыденным рутинным потенциалом восприятия их как «особенных», вероятных классиков, превращения в икону — олицетворение направления.

У этой работы есть предшественники, и их немало. Каждый выбирал для себя стратегию, которая интуитивно оказывалась созвучна порою смутно разделяемым представлениям об отношениях между людьми и с другими авторами, о допустимом по отношению к другим и к себе. «Не бывает невинных исторических теорий», — писал Франсуа Фюре<sup>1</sup>. Организовать разрозненные работы, разных людей, разведенных временем и часто не знакомых в обычной жизни, в историю под одной обложкой, — кто-то назовет это фокусничеством, кто-то — обычным для историков делом, кто-то спросит о прагматике. И этот последний случай напоминает, как часто истории направлений, школ, поворотов конструируют идентичность, поддерживают хрупкое чувство общности, причастности, связи через время и расстояние, так интуитивно переживаемое на уровне отдельных созвучий, сходств и едва ли не ауры (в том смысле, в каком о ней говорил Вальтер Беньямин). Мы чаще говорим о продолжении, чем о прекращении начатого направления, об успехах, чем о проблемах. От этого трудно удержаться. И я все время повторяю себе, что об этом нужно не забыть.

---

<sup>1</sup> Фюре Ф. Постигание Французской революции. СПб., 1998. С. 11.

В сущности, основной пафос лингвистического поворота как направления был связан с обещанием обратить критическое внимание на себя пишущего, по возможности осознать автоматическое и бессознательное, рационально выбирать стратегии письма и нести ответственность за свой выбор и его идеологические последствия. Новый историографический формат предложат историки, которых можно назвать представителями второго поколения лингвистического поворота. Так, например, Эва Доманска<sup>2</sup> и Херман Пауль<sup>3</sup> для описания истории лингвистического поворота выбрали жанр интервью, позволив читателю почувствовать действие времени, снова и уже в новой ситуации встретиться с теми, кто на рубеже 70–80-х начинал новое направление, услышать их оценки и вернуться к прошлому. При всей провокационной и одновременно сдержанной привлекательности такого подхода возможности реализовать что-то похожее, к сожалению, не было. Да и заданное в этом учебнике почти столетнее измерение в любом случае не позволило бы его реализовать.

Мне было сложно и увлекательно подбирать и пытаться контролировать подходящие форматы письма, чтобы рассказать историю лингвистического поворота и пригласить читателя к живому обсуждению. Эта книга — поиск. Я буду считать, что выполнила задачу, если получится вовлечь в эту совместную работу кого-то из вас, уважаемые коллеги, заинтересованные читатели.

Будет справедливо признать, что историки так или иначе проявляли интерес к анализу языка задолго до того, как лингвистический поворот стал направлением. Сколько бы ни спорили историки и филологи между собой, как бы изощренно ни возводили в прошлом столетии воображаемые дисциплинарные рубежи, упражнения над общим предметом — текстом в его историч-

---

<sup>2</sup> Domanska E. Encounters: Philosophy of History after Postmodernism. Charlottesville; London, 1998 (рус. пер.: Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. Интервью с философами истории и историками XX века / Пер. М. А. Кукарцева. М., 2010). Среди первых были книги Дидье Эрибона о Фуко и Леви-Строссе. Жанр интеллектуальной беседы, интервью стал популярным способом исследования на рубеже 1980–1990-х годов, импульс автобиографичности затронул многие формы презентации результатов исследования.

<sup>3</sup> Paul H. Hayden White. London, 2011.

ности — рождали моменты близости не без следов интимности и взаимной эмпатии, и в этом пограничье за весь XX век было создано немало работ, заслуживших любовь читателей и признание коллег. Работы Селищева и Тынянова, Эйхенбаума и Рейсера, Бахтина и Проппа историки с интересом цитировали, к имени Лотмана относились с эмоциональным трепетом, а его труды стали знаковыми для тех, кто совсем мало разбирался в знаковых системах. По разные стороны национальных границ начиналось общее движение навстречу.

Все начиналось с интереса и поиска, как работают с текстом и анализируют язык другие коллеги, другие дисциплины, другие традиции. Так что есть основания построить историю «поворота» к языку как историю поиска, перенести рассуждение о методе из теоретической плоскости в практическую и превратить в обсуждение инструмента, разобраться с его применением на отдельных и разных, по возможности, примерах. Это основная задача нашего учебника. Мы попробуем разобраться в разных приемах анализа языка и понаблюдать их «работу», разбирая исторические тексты и источники разных жанров. Поскольку речь идет о поиске, мы будем находиться в пограничье разных дисциплин: логики, лингвистики, литературоведения от Соссюра и Витгенштейна до анализа дискурса в разных традициях. Условное тесное пространство нескольких глав учебника не дает возможности обсудить подробно их культурный и интеллектуальный контекст и внутренние противоречия, а также порожденные ими дискуссии о каждом приеме и связанной с ним традиции и ее критике на протяжении XX века. Нас встретит многоголосие шумного мультидисциплинарного пространства, его воображаемая толчея и культурное богатство, видимость или материальность которых мне и хотелось бы обсудить с читателями. Оставаясь историками, мы будем двигаться в этом интеллектуальном пространстве вслед за нашими предшественниками, открывая и проблематизируя отдельные формы анализа и аспекты текста.

Основной предмет этой книги — обсуждение инструментальных приемов анализа языка и возможностей этого анализа в историческом исследовании. Лингвистический поворот — направление, которое во всем мире прочно ассоциируется с именем

и работами Хейдена Уайта, дискуссиями прежних дней, — не является ее главной и сквозной темой. О нем тоже идет речь в учебнике как об этапе в развитии историографической мысли, своего рода интеллектуальной провокации, сыгравшей роль детонатора в поиске заинтересованными интеллектуалами аргументов в пользу и против построений Уайта, случая, обратившего наконец внимание историков на разные традиции работы с текстом и разные традиции анализа языка, которые к тому времени практиковались их коллегами: лингвистами, литературоведами, критиками, логиками, антропологами и т. д. В результате идеи, которые вначале казались спорными и маргинальными, спровоцировали взрыв. В 1987 году известный британский социолог Энтони Гидденс написал, что постструктурализм мертв, да и при жизни не шел дальше метафор, все попытки применить их на практике были далеки от успеха<sup>4</sup>. По иронии судьбы книга вышла в продажу в тот момент, когда начался бум; многочисленные книги и статьи были написаны в 80–90-е годы с позиций критики и анализа языка и доказали прикладные возможности этого направления и инструментальность его методов. Буквально за десять лет маргинальная теоретическая позиция победила в программах университетов и произвела переворот в способе профессионального письма, постановки проблем, в исследовательских интересах поколения.

Одна из стратегий, которую использовали создатели направления для его продвижения, — написание истории направления как единого движения, объединяющего людей с общим опытом, одними и теми же интеллектуальными исканиями, переживших общие трудности и кризисы, проводивших споры с общими интеллектуальными противниками, одним словом, имеющих все признаки общей идентичности, способной мобилизовать для совместного действия и взаимной поддержки разделенных своими темами интеллектуалов. Лингвистический поворот превратился тогда в зонтичный термин, по принципу семейного сходства объединивший разные исследовательские практики и разные направления, от нового историцизма и истории культуры (*cultural history*)

---

<sup>4</sup> Giddens A. Structuralism, Post-Structuralism and the Production of Culture // Social Theory Today / Eds. A. Giddens, J. Turner. Cambridge, 1995.

до критики дискурсов и критики идеологий, новой нарративной истории и обсуждения художественных форм реализации исследования. В это время выходят многочисленные сборники, хрестоматии, учебные пособия, которые встраивают имена практикующих лидеров лингвистического поворота в ряд философов и историков, которых традиционная историография и история философии представляли классиками. Лингвистический поворот в этих текстах символически венчает единое движение как достигнутая цель, достижение прогресса (в привычной для традиционной историографии структуре). Одни возводят истоки лингвистического поворота к Соссюру или Витгенштейну, куда-то в давно забытое довоенное время, от которого остались пыльные полки книг; другие ищут его истоки в мятежных 60-х и протягивают руку через океан и пролив на континент, к парижским структуралистам; третьи связывают начало с Мишелем Фуко, и для них поворот сводится к анализу дискурсов<sup>5</sup>.

В Британии Кит Дженкинс и Алан Манслоу адресовали свои хрестоматии студентам и уводили их в философские дискуссии о природе истории, о самосознании дисциплины и ее рациональных основаниях, снова и снова возвращая их к обсуждению Хейдена Уайта, с чего или с кого бы они ни начали: с историографических практик Эдварда Карра, акцентируя разрыв с этой уходящей в прошлое, но еще недавно доминировавшей традицией<sup>6</sup>,

---

<sup>5</sup> «Будем ли мы считать ли, что лингвистический поворот начался с Фуко, или нет, или только начинается, — как бы то ни было, он зависит от того, что Фуко под ним понимал», — писал Гаррет Стедман Джонс (*Stedman Jones G. The Determinist Fix: Some Obstacles to the Further Development of the Linguistic Approach to History in the 1990s // History Workshop Journal. 1996. Vol. 42. P. 21*).

<sup>6</sup> *Jenkins K. Re-thinking History. London; New York, 1991. P. XVI, 1.* Через несколько лет Дженкинс подготовит и выпустит новый учебник, посвятив его четырем основным персонажам, Карру и Уайту, Элтону и Рорти, чтобы еще раз проиллюстрировать свою мысль: «винтажные» размышления историков шестидесятых перестали удовлетворять и казаться релевантными предмету размышления о природе истории (*Jenkins K. On 'What is History?' From Carr and Elton to Rorty and White. London; New York, 1995. P. 2*), причиной тому стали те интеллектуальные изменения, которые произошли в последние десятилетия благодаря работам Рикера, Фуко, Барта, Альтюссера, Деррида, Кристевой, Лиотара, Гринблатта.

или с философских практик, встраивая Уайта в один ряд с Лиотаром и Бодрийаром, Бартом и Фуко, показывая разрыв с марксизмом и буржуазной философией истории начала века<sup>7</sup>. Учебники сталкивали традиции разных десятилетий, в 90-е парадоксально представляя идеи шестидесятников «винтажными», а изданные всего несколько лет спустя, в 70-е, работы — «новым уровнем», «достижениями». Себя авторы идентифицировали с участием в этих важных дебатах (мы там, где Уайт). Одновременно они не просто представляли академические отношения в терминах борьбы, оппозиции, партийности, сталкивая традиционалистов и постмодернистов, но открыто политизировали историографию и отношения в университете, связывая Уайта с критикой буржуазных идеологий и едва ли не с текущей британской политикой. Сегодня, пишут они, традиционалистов готовы поддержать левые (марксисты), центристы (либералы) и правые (консерваторы)<sup>8</sup>, они «атакуют», «кричат», возводят «баррикады», они «против», они «недостаточно хороши, чтобы учить студентов»<sup>9</sup>. Они представляли себя противостоящими «большинству академических историков», «буржуазии» по своему видению мира и прошлого<sup>10</sup>, представляли себя заинтересованным и ответственным за будущее профессии и дисциплины меньшинством, принадлежащим не к конкретной академии, а к широкому интеллектуальному миру, агитируя студентов, аспирантов, молодых преподавателей стать их читателями и слушателями. Они формировали идентичность для тех, кто готов был разделить их уверенность в существовании общества позднего капитализма, совместное разочарование в идеологических утопиях коммунизма и буржуазного общества, почувствовать общие условия существования общественной формации и общие вызовы. Атмосфера радикализма и романтической революционной борьбы, которую они создавали, сопровождала

---

<sup>7</sup> *The Postmodern History Reader* / Ed. K. Jenkins. London; New York, 1997; *Why History? Ethics and Postmodernity* / Ed. K. Jenkins. London, 1999; *The Nature of History. Reader* / Eds. K. Jenkins, A. Munslow. London; New York, 2004.

<sup>8</sup> *Jenkins K.* On 'What is History'. P. 25.

<sup>9</sup> *Ibid.* P. 61.

<sup>10</sup> *The Postmodern History Reader.* P. 2, 6–7.

изменения в программах и на кафедрах внутри университетов. Правда, это была романтизация уже произошедших изменений, а ее символами были выбраны участники полемики десяти-двадцатилетней давности, Карра и Элтона к моменту выхода книги уже не было в живых.

На уровне репрезентаций речь шла о борьбе, на уровне практик к приемам лингвистического анализа обращаются самые разные коллеги Дженкинса и Манслоу, от марксистов вроде Гаррета Стедмана Джонса и дальше, независимо или не в такой уж строгой зависимости от своей партийности и идеологических симпатий; лингвистические приемы и поворот к исследованию репрезентаций, представлений, культуры распространяются, преобразуют тематику исследовательских проектов и студенческих работ, наполняют содержание не только программ и учебных курсов, но и страницы журналов, от британского *History Workshop Journal* до традиционного *American Historical Review*. Эту историю можно было рассказать и иначе, но сами идеологи поворота выбрали агрессивную и страстную тональность. То была героизация победителей, рассказ об их славных подвигах и интеллектуальной силе, они присваивали себе право говорить за других, в их руках находились издательские ресурсы<sup>11</sup> и расписание. Воинственную риторику, порой напоминающую революционный язык раннего Шкловского или Бахтина, содержали тексты тех, кто идентифицировал себя с поворотом. Это окрасило восприятие направления в соответствующие тона.

В трактовке 90-х лингвистический поворот ассоциировался с вызовом, если считать, что язык не просто передает или слегка преломляет значения, но создает, производит, задает видение ситуации и предопределяет способ действия в ней; то, что он идеологически и этически нагружен — в широком смысле язык определяет культуру и систему рациональностей, а вслед за ней и само поведение — требовало пересмотра, ревизии гуманитарных исследований и задавало новый способ проблематизации.

---

<sup>11</sup> Пару лет спустя Дженкинс и Манслоу начинают издавать журнал, тиражирующий название концептуальной книги Дженкинса «*Rethinking History: The Journal of Theory and Practice*».



Вызов, с научной точки зрения, мог рассматриваться как гипотеза, которая требовала проверки, с философской же — как кредо, принятие формы веры и заявление о своей лояльности одному из лагерей. И этот двойственный статус поворота сыграл свою роль.

Первое время идентифицировавшие себя с постмодерном авторы были не просто агрессивны, можно сказать, что они были авторитарны в отношениях и с читателем, и со своими коллегами, которых прославляли. Рассказывая о них, они отчуждали их голос, присваивали, комментировали, поясняли, — традиционная дидактика учебника отсылала к критикуемым практикам прошлых десятилетий (первое время эти постмодернистские учебники так мало цитировали тексты и так много комментировали, открыто претендуя не на право дать свое прочтение, а на традиционное, единственно возможное прочтение). Но уже в 1996 году Кит Дженкинс иначе организовал коммуникацию: он давал слово живым и показывал актуальные дискуссии между сторонниками мейнстрима и постмодернизма в журналах, а главное, представил примеры шумного многообразия современных академических идентичностей, репертуаров критических практик и способов проблематизации (гендер, этничности, проблема идентичностей, смешение культур, новый историзм, критика идеологий, новая историография, апеллирующие к разным практикам деконструкции и пристального прочтения текста; сами исследовательские практики еще не были показаны, авторы лишь рассказывали на разные голоса о своих направлениях). Противопоставление двух лагерей еще сохранялось, но становилось все менее воинственным. В 2000 году коллега Дженкинса Алан Манслоу подготовил энциклопедию, где в алфавитном порядке представил статьи об истории историографии от Канта и Гегеля, Коллингвуда и Карла Беккера, Эдварда Карра и Джеффри Элтона до Барта и Фуко, Ричарда Рорти и Хейдена Уайта, от Анналов до «Новой истории культуры», Кита Дженкинса и Фрэнка Анкерсмита<sup>12</sup>. Внутри она была организована не как нарратив о прогрессе или история смены форм, а как столкновение, дуальность или оппозиция эмпириков

---

<sup>12</sup> *Munslow A.* The Routledge Companion to Historical Studies. London; New York, 2000.

и нарративистов. Ссылаясь на многочисленные имена, Манслоу акцентировал правоту последних, их вклад в понимание прошлого и исторических процессов. Книга была полна традиционной прескриптивности и указаний, что должны, а чего не должны понимать и усваивать читатели; выводы же постмодернизма часто надеялись традиционным статусом объективной научной истины. Он представлял состояние исторической профессии как «продолжающиеся дебаты»<sup>13</sup>, но, в отличие от своего коллеги и партнера Кита Дженкинса, представлял это антагонистическое противостояние не в политических терминах и не в категориях неомарксизма, а в рамках идеологии строгой научности и объективности, что, в общем, тоже диссонировало с описываемым предметом и идеями.

Отчасти идеология научности была созвучна тому, как историю направления тогда же представляли «за пределами» лингвистического поворота. Долгие годы дискуссий связывали Георга Иггера с этим направлением. В своей книге он встраивал рассказ о лингвистическом повороте в философскую перспективу и сводил вызов к проблеме «отсутствия доступа к реальности прошлого» и проблематичности науки о прошлом<sup>14</sup>, писал о расхождении с традиционной историографией, о серьезном отношении к критике языка и о близости ряда работ, авторы которых пытаются использовать разные теоретические основания для исследования языка прошлого (речь идет об истории понятий, истории культуры, гендерной истории и т. д.). Иггерсу важна была не идентичность, а теоретические основания, от германской герменевтики до французского постструктурализма и постмодернизма, признаки которых ему удавалось отследить на уровне эксплицитном и на уровне прямого цитирования в работах современных авторов. Он оставлял открытым оптимистический конец своей книги, говоря о начале пересмотра, о возможном изменении исторического знания, которое более вероятно, чем «конец истории»<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> *Munslow A.* Deconstructing History. London; New York, 1997. P. 20.

<sup>14</sup> *Iggers G. G.* The “Linguistic Turn”: The End of History as a Scolarly Discipline? // *Iggers G. G.* Historiography in the Twentieth Century-From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Hannover, 1997. P. 120.

<sup>15</sup> *Ibid.* P. 147.

Ирония и риторика смерти часто ассоциировались с лингвистическим поворотом в литературе<sup>16</sup>. Заявляя о конце старой, традиционной истории, критики обычно провозглашали триумфальный рост и распространение новых форм исследований, сводя успехи к глухому перечислению направлений (истории понятий, культуральной истории, нового историзма, феминистской критики, постколониализма и т. д.). Романтизация нового направления, новых книг и новых авторов, которые приходят в университеты, в этом нарративе обещала скорое обновление университетского мира. Характерно, что этот романтический нарратив был создан теми, кто непосредственно не идентифицировал себя с лингвистическим поворотом и обращался к студентам, будущим профессионалам, с дидактическим приглашением внимательнее отнестись к тем практикам, которые начинали доминировать в университетской среде.

В 2004 году в Гарварде вышла книга Элизабет Энн Кларк «История, теория, текст: историки и лингвистический поворот», ее автор, профессор, специалист по истории Античности и раннехристианской патристике, тоже начинала с признания, что обращение к литературной теории и критике языка стало для ориентированных на критику текстов, на критику источников специалистов вторым рождением и переживается как «драма воскресения»: интеллектуальная история, история Античности и Средневековья могут много приобрести во взаимодействии с новыми коллегами<sup>17</sup>. Она вводила своих студентов от актуальной полемики в современном академическом обществе в глубь времен, к истокам, ко временам Соссюра и Пирса, представляя споры как конфликт двух национальных традиций — французской и англосаксонской, диалог между школой Анналов и британскими историками-марксистами, который продолжался во времена Леви-Стросса и Клиффорда Гирца и закончился взаимным интересом и признанием во времена Роже Шартье и Мишеля де Серто. «Разные стратегии чтения

---

<sup>16</sup> *Windschuttle K.* The Killing of History: How Literary Critics and Social Theorists are Murdering Our Past. San Francisco, 1999.

<sup>17</sup> *Clark E. A.* History, Theory, Text. Historians and the Linguistic Turn. Cambridge, 2004. P. 2.

открывают новые возможности текста»<sup>18</sup>, — в финале она подвела своих студентов к выводу о пользе знакомства с приемами новой критики для тех, кто занимается исследованием истории идей древности, периода Античности и раннего христианства, и на своем примере и примерах ближайших коллег показывала работу теории, проливающей свет на древние тексты.

В 2004 году, в разгар «политики без идеологии» в Британии Дженкинс и Манслоу, оставив в прошлом былую воинственность риторики, демократично предлагали студентам сравнить исследовательские практики трех сосуществующих в англосаксонском интеллектуальном пространстве эпистемологических ориентаций и связанных с ними разных историографических жанров, условно названных ими реконструктивизмом, конструктивизмом и деконструктивизмом. Они акцентировали «партийность» каждого примера, его пристрастность и интертекстуальность в смысле их вовлеченности в полемику. Составители хрестоматии приглашали своих студентов выслушать, как представители разных направлений рассказывают о своих исследовательских приемах, как они представляют объект своего исследования, какие вопросы задают, работая с материалом, чтобы научиться, вместе «стоя за верстаком»<sup>19</sup>. С трудом, но справляясь с такой еще недавно привычной полемической риторикой, они приглашали принять множественность возможных приемов работы и трактовок прошлого и воспринять их редакторское слово лишь как одну из существующих интеллектуальных позиций: они предлагали критически отнестись к тем практикам воссоздания прошлого, которые по-прежнему вдохновляют многих в профессии и которые, по их мнению, продолжают (пусть и в форме конструктивистской или деконструктивистской) самые консервативные идеи прошлого. В том же году Алан Манслоу издал своего рода продолжение, новый сборник тоже начинался с признания, что за последние годы лингвистический поворот стал главной частью академического ландшафта<sup>20</sup>,

---

<sup>18</sup> Clark E. A. History, Theory, Text. P. 7.

<sup>19</sup> *The Nature of History. Reader.*

<sup>20</sup> *Experiments in Rethinking History* / Eds. A. Munslow, R. A. Rosenstone. New York; London, 2004. P. 7.

сборник должен был представить читателю новые экспериментальные формы исторического письма, в том числе репрезентации саморефлексии автора и его работы с материалом, попытки передать разные голоса и разные интерпретации событий прошлого, показать его в инсценировке. Манслоу оставил себе роль комментатора, он разбирал выбор авторами подходящих языковых форм и предостерегал, чтобы за эмоциональной привлекательностью не пропустить возможные интеллектуальные ловушки новых форм письма. Лингвистический поворот в начале 2000-х годов уже не ассоциируется с осажденной крепостью, которую нужно защищать. Маргинальное в прошлом направление, производившее интеллектуальные провокации и вызовы и испытывавшее жесткое давление академической среды, за два десятилетия утвердилось в университетах и приобрело истеблишмент, свои внутренние проблемы и внутреннюю критику.

По законам жанра большие надежды вполне объяснимо сменяют успокоение и едва ли не разочарование. За полтора-два десятка лет направления превращаются в мейнстрим, выросшие на их лекциях и семинарах новые поколения заявляют о себе критикой своих учителей, уличая тех в расхождении между теорией и практикой, между риторикой и делом, между тем, во что они призывали верить, и тем, как они оказались вовлечены в воспроизводство дисциплинарных практик академического мира и старых форм письма, легитимирующих иерархии и авторитарность суждений.

В 2000-х годах поколения учителей садятся писать что-то вроде воспоминаний, встраивая лингвистический поворот в свои жизненные истории как идентичность. Они романтизируют дискуссии 80-х, свою молодость, «когда все начиналось», годы, когда междисциплинарность была экспериментом, когда историки, антропологи и социологи начали общаться и обсуждать теорию и метод, и казалось, что все занимаются общим делом и могут многому друг у друга научиться, но одновременно чувствовалась реальность дисциплинарных границ, дискуссии не прекращались за обедом, в коридорах в перерывах между семинарами, и все были такими яркими и молодыми и так горели. Подобным образом Уильям Сьюэлл описывал свою работу в Центре иссле-

дований социальных трансформаций (Center for the Study of Social Transformations) в Мичиганском университете<sup>21</sup>. Габриэль Шпигель идентифицирует лингвистический поворот с дыханием поколения. В книге 2005 года она писала об импликациях в практике историографии, которые можно назвать лингвистическим поворотом, о том, что не всегда укладывается в изначальные теоретические рамки<sup>22</sup>, о том, что лингвистический поворот долгое время был доминирующим направлением в историографии и оказал влияние на многие практические исследования. Сборник был адресован студентам, чтобы познакомить их со статьями и полемикой на страницах журналов в последние десятилетия. После лингвистического поворота ответ на его вызовы извне, следствия поворота — все в ее риторике заставляет представить рамку и пределы направления, которые хотелось ощутить порой больше, чем единство. Возможно, писала она, современное отношение к повороту в профессиональном сообществе еще трудно назвать консенсусом, но определенно можно говорить о признании его значения, о заметном смещении фокуса многих исследований на изучение субъективности, опыта, дискурсивных структур и индивидуальных актов и их прагматики, об изменении понимания причинности и акторов истории, об обращении к текстуальности истории и истории культуры. Текст демонстрировал эти перемены: за годы лингвистического поворота изменились приемы исторического письма, эти изменения затронули историю идей, историю рабочего движения<sup>23</sup>, социальную историю<sup>24</sup>, гендерную историю<sup>25</sup>, советологию<sup>26</sup>.

---

<sup>21</sup> *Sewell W. H., Jr. Logics of History. Social Theory and Social Transformation. Chicago, 2005. P. ix.*

<sup>22</sup> *Practicing History. New Directions in Historical Writing after the Linguistic Turn / Ed. G. M. Spiegel. London; New York, 2005.*

<sup>23</sup> *Geary D. Labour History, the 'Linguistic Turn' and Postmodernism // Contemporary European History. 2000. Vol. 9, N 3. P. 445–462.*

<sup>24</sup> *Sewell W. H., Jr. Logics of History.*

<sup>25</sup> *Canning K. Feminist History after the Linguistic Turn: Historicizing Discourse and Experience // Signs. 1994. Vol. 19, N 2. P. 368–404.*

<sup>26</sup> *Engelstein L. Culture, Culture Everywhere: Interpretations of Modern Russia, across the 1991 Divide // Kritika 2. 2000. Vol. 1. P. 363.*

2008 год стал в истории Соединенных Штатов годом выборов и протестов: Америка выбрала Обаму, Америка протестовала против войны в Ираке. В этих условиях Габриэль Шпигель (она тоже победила в 2008 году на выборах — стала президентом Американской исторической ассоциации) написала едва ли не гимн поколению и гимн направлению. Она связала лингвистический поворот с судьбой поколения, отчетливо превратив его в идентичность, единство тех, кто связан общей судьбой, общим происхождением, одной эпохой, ее трагедиями и трудностями. Ее рассказ определенно романтизировал лингвистический поворот, отождествив его с поколением 60-х, поколением детей Второй мировой, теми, кто не был готов принять марксистское объяснение Холокоста и продолжать после Аушвица верить в прогресс и европейское Просвещение, и с теми, кто верил в революцию: «...революция — необходимая предпосылка исторического письма»<sup>27</sup>. Отсюда, как писала Габриэль Шпигель, увлечение критикой классического историзма и исторического знания и пристальное внимание к настоящему академического мира, к этическим и идеологическим основаниям историографии, к себе пишущим: «...пересматривая Прошлое — пересматривая Настоящее»<sup>28</sup>. Отсюда критика идеологий, новые модели политики и власти, не персонифицированной власти-знания, действующей через структуры языка и дискурс, безличной и легко обратимой против своих создателей, так ярко описанной в работах Мишеля Фуко. Идеи, которые заставляют умирать, убивать, предавать, голодать, подчиняться. Отсюда осознание иллюзорности представления науки как высшего достижения, как попытки выдать собственные предрассудки и верования за универсальные ценности. Вместо истории науки — критика знания, вместо понятия «класс» — идентичности, вместо способа производства — культура, вместо политиков — знание. 40 лет, большое число вовлеченных в лингвистический поворот историков, полки с книгами, жизнь, пролетевшая в науке. Габриэль

---

<sup>27</sup> *Spiegel G. M. The Task of the Historian // The American Historical Review. 2009. Vol. 114, N 1. P. 7.*

<sup>28</sup> *Spiegel G. M. Revising the Past // Revisiting the Present: How Change happens in Historiography. 2007. Vol. 4. P. 1.*

Шпигель создала романтический нарратив об истории направления и общей идентичности, но так и не рассказала о внутренней академической культуре, не обратив критику на себя, оставив это за рамками жанра и заставив почувствовать уходящую романтику, уходящую из этого поля жизнь.

В российской традиции рефлексия по поводу лингвистического поворота оказалась менее подвижна, хотя начиналась в 90-е годы примерно с тех же нот<sup>29</sup>. Первые работы знакомили российских читателей с новыми направлениями в современной зарубежной историографии, пока еще не вышли переводы. «Одиссей» 1996 года открылся статьей А. Я. Гуревича, сдержанно знакомившей читателя с философскими и теоретическими основаниями лингвистического поворота и его вызовами, но, в отличие от западных коллег, предостерегавшей:

В результате произвольного распространения приемов и принципов деструкционизма на ремесло историка из истории испаряется вместе с истиной и время, образующее «фактуру» исторического процесса. Доведенные до предела, постмодернистские критические построения грозят разрушить основы исторической науки. Термин «постмодернизм» («постструктурализм» или «лингвистический поворот»), принятый представителями этого течения в качестве самоназвания, фиксирует внимание на разрыве с предшествующей исторической традицией, многие из коренных постулатов которой им отвергаются. Однако подобные резкие сдвиги и перевороты в науке, как правило, на поверку оказываются неоправданными<sup>30</sup>.

Альманах приглашал читателей к обсуждению:

---

<sup>29</sup> Мучник В. М., Николаева И. Ю. От классики к постмодерну: о тенденциях развития современной западной исторической мысли // К новому пониманию человека в истории: Очерки развития современной западной исторической мысли / Под ред. Б. И. Могильницкого. Томск, 1994. С. 5–52. См. также: Зверева Г. И. Историческое знание в контексте культуры конца XX века: проблема преодоления власти модернистской парадигмы // Гуманитарные науки и новые информационные технологии. М., 1994. Вып. 2. С. 127–142.

<sup>30</sup> Гуревич А. Я. Историк конца XX века в поисках метода. Вступительные замечания // Одиссей. 1996. М., 1996. С. 8.



...постмодернистская критика историографии как бы разбередила раны, на которые историки до недавнего времени не обращали должного внимания. Исторический источник вовсе не обладает той «прозрачностью», которая дала бы исследователю возможность без особых затруднений приблизиться к постижению прошлого. Сочинение историка действительно подчиняется требованиям поэтики и риторики, представляя собою литературный текст с присущими ему сюжетом и «интригой». Опасность здесь заключается в том, что историки, как правило, не замечают этой близости между историческим и художественным дискурсами и поэтому не делают должных выводов. Метафоричность языка историков (у которых нет собственного профессионального языка) сплошь и рядом приводит к реификации понятий, которым придают самостоятельное бытие. Зависимость историка от современности — не только мировоззренческая, идеологическая и экзистенциальная, но вместе с тем и в первую очередь лингвистическая<sup>31</sup>.

Гуревич говорил о том, что ответ на вызов лингвистического поворота могут дать, помимо микроистории, история понятий, интеллектуальная история, новая социальная история (те направления, об обновлении которых под влиянием лингвистического поворота в это время писали британские и американские критики)<sup>32</sup>.

Уже в следующей статье альманаха Г. И. Зверева немного иначе расставила акценты. Она говорила об открытиях лингвистического поворота и критики дискурса Мишеля Фуко, об оригинальности и авторитетности новой интеллектуальной истории, к которой относил Хейдена Уайта, Доминика ЛаКапра, Луи Минка, Ханса Кельнера, Лайонела Госсмэна, Фрэнка Анкерсмита и других авторов, идентифицировавших себя с лингвистическим поворотом: «...момент своего рождения новая интеллектуальная история определяет достаточно четко — 1973 год — появление книги Х. Уайта “Метаистория”»<sup>33</sup>. Г. И. Зверева акцентировала

<sup>31</sup> Гуревич А. Я. Историк конца XX века. С. 9.

<sup>32</sup> Там же. С. 7–8.

<sup>33</sup> Зверева Г. И. Реальность и исторический нарратив: проблемы саморефлексии новой интеллектуальной истории // Одиссей. 1996. М., 1996. С. 15.

разные направления, разные пересекающиеся интеллектуальные поля и сообщества, а главное, писала о новациях современной нарратологии, об исследовании темпоральности текста, коммуникации автора и читателя в тексте и т. д. Она связывала с этим движением и представителей новой истории культуры: «Дань “новой интеллектуальной истории” отдают Роже Шартье, Линн Хант, Карло Гинзбург, Дэвид Холлингер, Питер Новик и некоторые другие авторитетные историки Запада»<sup>34</sup>. Называя лингвистический поворот «новой интеллектуальной историей», Г. И. Зверева знакомила российских читателей с ключевыми для этого направления работами и важными идеями их авторов<sup>35</sup>.

Л. П. Репина так объясняла восприятие лингвистического поворота представителями традиционной историографии:

...многие историки встретили «наступление постмодернистов» буквально в штывы. Психологический аспект переживания смены парадигм, несомненно, сыграл в этом решающую роль. Именно угроза социальному престижу исторического образования, статусу истории как науки обусловила остроту реакции и довольно быструю перестройку рядов внутри профессионального сообщества, в результате которой смешалась прежняя фронтовая полоса между «новой» и «старой» историей и некоторые враги стали союзниками, а бывшие друзья и соратники — врагами. Эмоциональное предупреждение вечного стража профессиональной исключительности Дж. Элтона о том, что «любое принятие этих (постмодернистских) теорий — даже самый слабый и сдержанный поклон в их сторону — может стать фатальным», несомненно, отражает широко распространенное ныне среди историков старшего поколения состояние. То поколение историков, которое завоевало ведущее положение в «невидимом колледже» на рубеже 60–70-х годов (и ранее), тяжело переживает крушение привычного мира, устоявшихся корпоративных норм... дискуссия шла на повышенных тонах. Но подспудно здесь велась и серьезная работа<sup>36</sup>.

<sup>34</sup> Зверева Г. И. Реальность и исторический нарратив...

<sup>35</sup> Там же.

<sup>36</sup> Репина Л. П. Вызов постмодернизма и перспективы новой культурной и интеллектуальной истории // *Одиссей*. 1996. М., 1996. С. 27–28.